

Андрей РУМЯНЦЕВ

Родился в рыбацьем селе Шерашово на Байкале. Окончил Иркутский университет. Работал в газете «Молодежь Бурятии», затем заместителем председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Бурятии.

Автор многих поэтических и прозаических книг, в том числе биографических повествований о Валентине Распутине и Александре Вампилове, вышедших в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия». Публиковался во Франции, Канаде, Болгарии, Эстонии и других странах.

Народный поэт Бурятии, член Высшего творческого совета Союза писателей России. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Лауреат нескольких литературных премий.

Живёт в Москве.

«ЦАРСТВО СОЛНЦА ВНУТРИ НАС...»

130 лет со дня рождения Сергея Есенина

У поэзии Сергея Есенина есть одна особенность, которой отмечено все его творчество. О ней не скажешь в двух словах. Можно только подчеркнуть, что она отчасти мистическая, заложенная свыше в его редкостном даре.

Я имею в виду устремленность чувств и мыслей поэта к неземному, вышнему, постоянное присутствие в его стихах той особой просветленности, которую издавна называют небесной. Это сокровенно выражено им в строках:

Душа грустит о небесах,
Она не здешних нив жилища.

Проще всего было бы свести разговор к предчувствию поэтом краткости своей земной жизни, к болезненному желанию до срока уйти в иной мир. Нет, здесь мы имеем дело с редким прозрением гения. По Божьему предначертанию, земная жизнь души как пролог к жизни небесной есть ее постоянное причащение к добру и любви, есть все более глубокое познание ею праведности и чистоты. В этом смысле отчая земля для поэта с юных лет получила приметы нездешней духовной обители:

...Чую Радуницу Божью –
Не напрасно я живу,
Поклоняюсь придорожью,
Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венком, в кольце иголок,
Мне мерещится Иисус.

Он зовет меня в дубровы,
Как во царствие небес,
И горит в парче лиловой
Облаками крытый лес.

Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов.
Я поверил от рожденья
В Богородины покров.

1914 г.

Нас не должно сбить с толку позднее утверждение Есенина: «От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение как путь поэта до революции».

И в другом месте:

Я просил бы читателей относиться ко всем моим Иисусам, Божьим матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии. Отрицать я в себе этого этапа вычеркиванием не могу так же, как и все человечество не может смыть периода двух тысяч лет христианской культуры, но все эти собственные церковные имена нужно так же принимать, как имена, которые для нас стали мифами: Озирис, Оаннес, Зевс, Афродита, Афина и т. д.

Вера человека или его неверие – это часть его духовного мира. Вера может усиливаться, может ослабевать и переходить в неверие. Но мы говорим не о том, как отражались вера или неверие в творчестве Сергея Есенина. Мы говорим о том особом лирическом чувствовании, которое неизменно присутствовало в его стихах разных лет, не ослабевая, а, пожалуй, лишь обогащаясь благодаря новому духовному опыту. Это чувствование русский философ Георгий Федотов назвал «звоним таинственного мира». Вот лишь несколько примеров.

Обращение к родине (1917 г.):

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля.

Широки леса и воды,
Крепок взмах воздушных крыл.
Но века твои и годы
Затуманил бег светил.

Не тобой я поцелован,
Не с тобой мой связан рок.
Новый путь мне уготован
От захода на восток.

Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.

Обращение к Богу (1919 г.):

Сойди на землю без порток,
Взбурли всю хлябь и водь,
Смолой кипящею восток
Пролей на нашу плоть.

Да опалят уста огня
Людскую страсть и стыд.
Взнеси, как голубя, меня
В твой в синих рощах скит.

Обращение к женщине (1923 г.):

Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески – в дым.

Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.

Чувство, которое сердце не может выразить словом... Есенин, тем не менее, находил слова, чтобы сказать о нем наиболее точно. В рецензии на роман Андрея Белого «Котик Летаев» (1918 г.) он писал: «...мы, созданные по подобию, рожденные, чтобы найти ту дверь, откуда звенит труба, предопределены, чтобы выловить ее “отворись”. “Прекрасное только то, чего нет”, – говорит Руссо, но это еще не значит, что оно не существует. Там, за гранию, где стоит сторож, крепко поддерживающий завесу, оно есть и манит нас, как далекая звезда. Меланхолическая грусть по отчизне, неясная память о прошлом говорят нам о том, что мы здесь только в пути, что где-то есть наш кровный кров, где

У златой околицы
Доит Богородица
Белых коз...»

Есенин не мог обойти стороной важного для себя вопроса и в статье «Ключи Марии», посвященной обоснованию органичного образа в русской поэзии. По его мнению, образное мышление наших предков обнимало не только земную жизнь; оно устремлялось и в небесные дали. «Прочитав сущность земли и почувствовав над нею прикрытое синим сводом пространство, – писал двадцатитрехлетний поэт, – человек протянул руки и к своей сущности». Человек попытался, добавим мы, открыть в себе божественную сущность. Ведь при создании его, как и земли, и неба, всем им была дарована равная благодать. Любо-

пытно, что само время (1918 г.), когда были написаны «Ключи Марии», наложило отпечаток на размышления поэта – он особо выделил:

...Буря наших дней должна устремить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса. Мы считаем преступлением устремляться глазами только в одно пространство чрева; тени неразумных, не рожденных к посвящению слышать царство солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий голос, идущий от сердца в разум, но против них должна быть такая же беспощадная борьба, как борьба против старого мира.

Несвойственные Есенину призывы «к беспощадной борьбе» оправданы тут его страстной верой: обновление жизни приведет к обновлению души, то есть к ее очищению.

Кратко есенинское требование к художнику, на мой взгляд, как раз и можно выразить так: поэзия есть духовное очищение. Могут возразить, что «имажинистский» период творчества лирика, время создания таких произведений, как «Исповедь хулигана», цикл стихов «Москва кабацкая», отмечены «снижением» его лексики, намеренным употреблением грубых слов. Где же тут стремление к духовному очищению? Но и сам поэт, и его современники не раз утверждали, что образ «хулигана», кабацкого гуляки – это не более чем маска, за которую в жестокое время ломки всей русской жизни пряталась нежная, ранимая, мятущаяся душа поэта. Позже, в 1924 году, сам Есенин с поразительной, безоглядной искренностью, покаянно объяснил свою житейскую неустроенность в «Письме к женщине»:

Любимая!

Меня вы не любили.

Не знали вы, что в сонмище людском

Я был как лошадь, загнанная в мыле,

Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,

Что я в сплошном дыму,

В развороченном бурей быте

С того и мучаюсь, что не пойму –

Куда несет нас рок событий.

<...>

Ну кто ж из нас на палубе большой

Не падал, не блевал и не ругался?

Их мало, с опытной душой,

Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я

Под дикий шум,

Но зрело знающий работу,

Спустился в корабельный трюм,

Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был –

Русским кабаком.

И я склонился над стаканом,

Чтоб, не страдая ни о ком,

Себя сгубить

В угаре пьяном.

Но зато как сильна в стихах Есенина 1917–1918 годов жажда чистой, праведной жизни, духовного «преображения»! Он неустанно твердит: грядет новый мир, грядет новая поэзия, и в них будут царить правда и добро. Вот только один кусочек из маленькой поэмы 1917 года «Певущий зов»:

Кто-то мудрый, несказанный,
Все себе подобя,
Всех живущих греет песней,
Мертвых – сном во гробе.

Кто-то учит нас и просит
Постигать и мерить.
Не губить пришли мы в мире,
А любить и верить!

Казалось бы, продолжается кровавая война, тысячи ежедневных смертей превратили ее в национальную трагедию, призрак разрухи и запустения по всей стране стал явью, а поэт, испытавший солдатскую судьбу, пусть не окопную, по-прежнему, как нежный отрок, бредит кроткими и чистыми видениями:

Есть нежная кротость, присев на порог,
Молиться закату и лику дорог.
В обсыпанных рощах, на сжатых полях
Грустит наша дума об отрочьих днях.
За отчею сказкой, за звоном стропил
Несет ее шорох неведомых крыл...
Но крепко в равнинах ковыльных лугов
Покоится правда родительских снов.

1917 г.

У Василия Розанова есть глубокое замечание, которое уместно будет привести здесь. Философ пишет, что Моцарт был одарен, а Сальери обделен тем «почти случайным даром, который Бог весть откуда приносит на землю “райские виденья...”» В данном случае имеются в виду не утопические райские грезы, а некий прообраз идеальной, праведной жизни на земле. Есенин в полной мере владел таким даром.

В мемуарной и критической литературе после гибели Есенина стало традиционным такое объяснение его трагической судьбы: «последнего поэта деревни» погубил город, точно так же как «железный конь» победил коня живого. Наиболее ярко эту мысль выразил Максим Горький. Рассказав о своей встрече с Есениным в Берлине в 1922 году, когда поэт в его присутствии читал свои стихи, и в частности «Песнь о собаке», писатель заметил:

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком.

И как продолжение высказанной мысли – строки из письма Горького одному из своих корреспондентов:

...Это глубоко поучительная драма, и она стоит не менее стихов Есенина. Никогда деревня, столкнувшись с городом, не разбивала себе лоб так эффектно и так мучительно. Эта драма многократно повторится.

Но, думается, в словах писателя содержится неполная правда, или – точнее – правда, лежащая на поверхности.

При чтении есенинских стихов не покидает ощущение, что их автор знает что-то глубинное, неведомое для других об идеальной жизни человека, и душа его стремится туда, в мир справедливости и добра. О таком даре напоминал еще один русский философ – Сергей Булгаков: «...Поэт в своей художественной правде есть свидетель горнего мира. ...Поэзия божественна в своем источнике, она есть созерцание славы Божества в творении».

Разве не отодвинетесь вы от земного бытия, полного темных страстей, недостойных деяний, нравственной грязи, читая такие строки поэта:

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайным тихим светом
Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.

Не гнетет немая млечность,
Не тревожит звездный страх.
Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.

1917 г.

Серебристая дорога,
Ты зовешь меня куда?
Свечкой чисточетверговой
Над тобой горит звезда.

Грусть ты или радость теплишь?
Иль к безумью правишь бег?
Помоги мне сердцем вешним
Долюбить твой жесткий снег.

Дай ты мне зарю на дровни,
Ветку вербы на узду.
Может быть, к вратам Господним
Сам себя я приведу.

1917 г.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую воду!

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

1924 г.

Руки милой – пара лебедей –
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.

Пел и я когда-то далеко
И теперь пою про то же снова,
Потому и дышит глубоко
Нежностью пропитанное слово.

1925 г.

Можно было бы привести другие лирические раздумья поэта о родине, жизни, любви, но, я уверен, вы сразу же узнали бы, что это – Есенин. Так неотразимо близки и в то же время притягательны не постигнутой еще тайной иного бытия его строки! Да, в них кроткое приятие земной доли, благодарность судьбе за счастье и муки, нежность ко всему живому, но в них – и тайна, тайна присутствия человека *здесь* и *там*, прозрение высшего смысла: для чего явлена в мир человеческая душа?

Именно об этом прозрении говорил Ф. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» устами старца Зосимы:

Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высоким, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот посему и сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее.

То, что Есенин постоянно нес в себе «сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным», отмечали многие наблюдательные современники. Одни из них вспоминали, что поэт казался «не от мира сего», другие приводили такие его прозрения, которые поражали оригинальностью и глубиной. Но, разумеется, все это лучше, ярче видно в стихах Есенина.

Он жестоко страдал, оступался и поднимался, но душа его никогда не ожесточалась, не теряла своей божественной сущности. В тех же воспоминаниях о Сергее Есенине мы найдем много правдивого и лживого о его характере, образе жизни и образе мыслей, но все же самые близкие к нему и лучше других знавшие его или самые проникательные люди паразитально единодушны, когда говорят о внутренней сущности поэта.

Из всех бесчисленных мемуарных свидетельств я выделил бы одно, врезавшееся в память своей необычностью. Оно принадлежит Борису

Зубакину, археологу по образованию и поэту-импровизатору по творческому влечению. Он не был близким другом Есенина. Собственно, он не писал о поэте и воспоминаний. Его рассказ – это письмо к Горькому, которому он излил свои чувства после гибели Сергея Александровича. Послание Зубакина довольно большое, но мне хочется привести его почти полностью, исключив разве что незначащие строки, – так тонко передает автор движения чужой души, так глубоко чувствует особенности редкого таланта и так сердечно, родственно звучит каждое его слово о поэте.

Вторая половина 1926 г.

...Теперь напишу о С.А. Есенине. «Это черт и ангел вместе!» – сказала мне о нем Дункан. «Чертом» я его не знал. Подружились мы крепко только в 1923 году. В «Кафе Пегаса»* с большими витринами окон – просиживал он целые ночи, а я заходил туда, чтобы с ним быть. «Музы» наши различны. И это нас – сближало. В это время его очень травили. Есенин мучился и метался. У него была обольстительная рассеянная улыбка. Но когда он говорил серьезно, – улыбку сменяла сдвинутость бровей и суровость слов. «Мое место – здесь, в Москве. Ни в деревне, ни в другом каком городе! Если чего-нибудь ждать настоящего, то только здесь! Не у бизнес-же-менов – в Америке!» – и неудержимо рвался прочь – из Москвы. В период травли и обид, чинимых ему, между прочими – и Демьяном Бедным, – я написал Есенину стихи – в ответ на его трогательную надпись. Есенин, снисходительный к стихам своих друзей, носил их при себе и дорожил ими...

В Кенигсберге, в отеле «Бельвю» – видел я однажды залетевшую в залу ласточку. Она старалась вылететь обратно – и билась клювом о стекло, пока не упала замертво. Вот такими представляются мне и последние дни Есенина. «Знаешь, друг, тебе ведь много не надо, – говорил он мне, – бросим все это! Поедем на пароходе по Волге. Ты будешь читать обо мне лекции – а я стихи. Хорошо?» Билась головой ласточка о невидимое стекло между ею и жизнью живою – но не улетела. Уехал он сперва – на больничную койку, а потом, за несколько дней до гибели, опять: «Поеду в Питер. Поеду – работать буду». Это был – последний удар о стекло...

В «Доме Печати» был на его предсмертном выступлении. Встретил меня каким-то стариком, кашлял. «Видишь, кашляю кровью», – сказал не своим голосом. Потом вышел на ту же эстраду, где при подобных же обстоятельствах читал перед смертью Блок. Начал читать – и запнулся. Неужели забыл стихи? И вдруг все увидели, что он с открытыми глазами – плачет. Все лицо под стеклом – хлынувших обильно слез. «Блока – люблю. Настоящий», – говорил он мне. А Брюсов мне же о Есенине: «Пустяк. На одной струне балалайка». Однако, при всей односторонности – кто же пел так глубоко – и для всех. Так проникновенно и по-своему. Очень хотел – быть «Государственным», – т. е. опереться на организованную жизнь широкого слоя людей. Но известно, что он считал, что ему это не удалось. Читал он стихи как никто из поэтов – глуховатым, волнующим голосом, на широкой волне, подчеркивая и удваивая изредка конечные согласные: «Все пройде-оть как с белых яблонь дыммь».

«Зачем ты пьешь?» «Чтобы не думать, – отвечает. – Я пью, стараясь допить до той точки, после которой теряю всякую память и соображение: а до этой точки все помню, ничего не забывая – ни-че-го!» Называл себя «Государственной собственностью». Женщинам никогда не льстил. Обращался очень просто и человечно, чем и покорял – при встрече. Один крупный поэт** (который до сих пор

* Точное название кафе: «Стойло Пегаса».

** Имеется в виду Б. Пастернак.

простить себе этого не может), раздраженный его задирками, – ударил его. Есенин разорвал свою рубашку и кинулся к нему: «Хочешь меня бить? Ну – на! бей, бей...» Слава Богу, меня при этом не было.

Кормил и поил всех вокруг. На это уходили все деньги. Носил при себе не расставаясь карточки своих детей и сестры. Иногда вваливался неожиданно, с ворохом игрушек, в квартиру бывшей своей жены – и тогда был странен, нежен с детьми – и мучителен. Но чаще всего – было с ним очень сердечно-легко – и сердечно-весело. И все его боготворили, кроме «стиховедов», не знакомых с ним. Шло от него прохладное и высокое веяние гения. Лукавый, человечно-расчетливый, двоедушный – вдруг преобразался, и все видели, что ему смешны все расчеты земные – и слова – и «люди», и он сам себе – каким он был только что с ними. Он становился в такие минуты очень прост и величав – и как-то отсутствующ. Улыбался еще рассеянней и нежнее – как-то поверх всего, – но всем. Он не был «падшим ангелом», он был просто ангелом – земным.

Перед часом смерти он, по-видимому, предался чувству крайнего недоверия к окружающему и отчаяния, разорвал в клочки карточку сына, с которой не расставался (воображая, как говорили, что сын не его и что он обманут, жена же боготворила его, и это – полный бред окружавших Есенина клеветников). Он был очень несчастлив – хоть был и баловнем судьбы и людей. Думаю, что характер его несчастья имеет источником – мало ведомое пока, – но подлинное счастье. Помните, как у Данте? – В вышнем мире поют Высокие Ангелы Согласный Гимн, а на земле это слышно как грохот, буря и хаос. Земной хаос жизни Есенина был выражением внутренней особо присущей ему музыки и гармонии. Это счастье – есть состояние особо раскрытой и углубленной человечности, владеют которой немногие счастливы. Но владея ею по временам, они не умеют удержать её в себе и применить к делу, к окружающему. Отсюда – страдание. Но много счастья – не надо. И мне радостно было слышать от Вас – Вашу благородную оценку жизни Есенина и его творчества.

На многие размышления наводит письмо Б. Зубакина. Иные авторы, писавшие о С. Есенине, особенно литературные противники, недоброжелатели и завистники твердили по поводу каждого доброго слова о поэте: «Не надо создавать сусального Есенина!» Сусальный, то есть слащавый, приукрашенный, – это, конечно, плохо. Но кто из поэтов того времени, жестокого, беспощадного к человеку, сказал так, как Сергей Есенин: «Царство солнца внутри нас»? А ведь он был еще юношей. И главное, разумеется, не в том, что он чеканно выразил свою мысль, а в том, что это его убеждение являлось основой его поэзии и, стало быть, основой его жизни.

Есенин и в конце своей короткой судьбы, незадолго до трагического ухода, повторил слова, которые хранил в душе всегда:

На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за всё благодарю.

Август 1925 г.